

ПАВЛО ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ

РОКСОЛАНА

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
СУЛТАНА СУЛЕЙМАНА
ТОМ II

УДК 821.161.2-311.6
ББК 84(4Укр)-44
3-14

Загребельный, Павло Архипович.

3-14 Роксолана. Великолепный век султана Сулеймана. Том 2 /
Павло Загребельный. — Москва : Алгоритм, 2026. — 448 с.

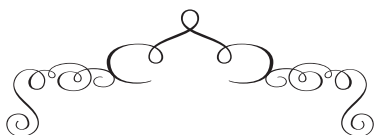
ISBN 978-5-00269-518-8

Второй том книги, по которой был снят сериал «Великолепный век».

Лишь с ней султан Сулейман был искренне счастлив. Его блеск луны, путеводная звезда, его госпожа, сумевшая увидеть человека за титулом. Она стала его верным советником, правой рукой и опорой.

Но их связь разрушала вековые традиции Османской империи...
Это реальная история о запретной любви, ставшей легендой.

УДК 821.161.2-311.6
ББК 84(4Укр)-44

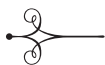
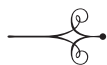


ЦАРЫ

Утра приходили из-за Босфора чистые-чистые, как детские личики. У Даже тогда, когда дети еще были маленькими и не давали спать по ночам и Роксолана спала урывками, все же она встречала утро легкотеля, в радостной летящести духа, каждая жилка в ней пела, прикосновения воздуха к лицу и всему телу были как шелк, и каждый день как будто предвещал ей, что она должна пройти сегодня между двух цветастых шелковых стен. Так султан во время своих селямликов проезжает по улицам Стамбула, которые превращаются в сплошные стены из шелка и цветов, а еще из восторженных восклицаний столичных толп. Но как только падишах проедет, затоптанные в грязь цветы вянут, шелка обдираются, толпы, коим обещана щедрая плата за выкрики в честь повелителя, как всегда, обмануты и проклинают обманщиков, снова вокруг бедность, горы нечистот и нищета, нищета.

А те шелковые стены, которые мерещились Роксолане по утрам, после пробуждения? С течением дня они сдвигались вокруг нее, сжимали, стискивали ее, уже словно бы и не шелковые, а каменные, тяжелые, как несчастье. Чем понятнее становилась ей жизнь в гаремных стенах, тем бессмысленнее она казалась. Порой нападало такое отчаяние, что не хотелось жить. Держалась на свете детьми. Когда-то рожала их одного за другим — даже страх брал от таких неестественно непрерывных рождений, — чтобы жить самой, зацепиться за жизнь, укорениться в ней. Теперь должна была жить ради детей.

Когда-то султан был только неведомой угрозой, затем — вымечтанным избавлением, а со временем стал ближайшим, единственным человеком, любимым человеком, хоть и все



еще загадочным. Постепенно она сдирала с него загадочность, упорно добиралась до его сути, до его мыслей и сердца. Когда еще не было у него Хюррем, любил ужинать с Ибрагимом, теперь на долю грека выпадали разве что ужины в походах, в Стамбуле же почти все ночи принадлежали Хюррем. Обедая султан иногда с визирями и великим муфтием. Считалось, что во время таких обедов будут говорить о державных делах, но Сулейман был всегда неприступно молчаливым, ел быстро, небрежно (обед состоял всего из четырех блюд), будто он спешил и берег себя для ночных уединений с султаншей.

Никто никогда не знал, о чем думает султан, только эта молодая женщина стремилась это знать и достигла успеха. Никто никогда не понимал движений его сердца, она это делала всякий раз и пугала его своим ясновидением, так что иногда он поглядывал на нее со страхом, вспоминая упорные нашептывания о том, что Хюррем — злая колдунья.

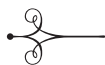
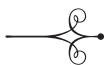
В темной Сулеймановой душе, заполненной безмерной любовью к Хюррем, все же находились такие закутки, куда по-змеиному заползала подозрительность, зловеще шипела, брызгала жгучей отравой. Тогда ярился неведомо на кого, и, как бы чувствуя смятение в его душе, появлялась валиде, которая была убеждена, что Дом османов без нее давно бы рухнул, а поэтому все должна была знать, всем управлять, за всеми следить и вынюхивать; предоставляя султану господство над телами, себе хотела захватить власть над душами.

— Слышали ли вы, мой царственный сын? — допытывалась она у Сулеймана, и он почти с ужасом смотрел, как изгибаются ее темные уста, прекрасные и в то же время ядовитые, как змеи.

Или же прибегала к нему сестра Хатиджа, которая никак не могла уgomониться, даже получив себе в мужья самого великого визиря и любимца султана, и кричала, что ей невмочь более терпеть в Топкапы эту колдунью, эту славянскую ведьму, эту...

— Уймись, — спокойно говорил ей Сулейман, а сам думал: «А может, и в самом деле? Может, может...»

Ибрагим был осторожнее, но и по-мужски решительнее.



— Не разрешили бы вы, о мой султан, чтобы капиджии у врат Баб-уссааде открывал лица всем женщинам, которые проходят в гарем? Ведь, переодевшись женщиной, туда могут проникнуть злоумышленные юноши, и тогда...

— А не следует ли, мой султан, велеть привратным евнухам обыскивать всех портных и служанок, которые проходят в гарем с воли, чтобы не проносили они запрещенного или такого, что может...

— А не следует ли поставить на султанской кухне людей для наблюдения за кушаньями, которые готовятся для султанши хасеки и для обитательниц неприступного гарема? Чтобы не допустить никакого вреда для драгоценного здоровья ее величества...

— И не лучше ли было бы, если бы...

— А также недурно было бы еще...

Где-то оно все рождалось, сыпалось и сыпалось с мертвым шорохом, как крупа с неба, собиралось целыми кучамихлама, злые люди султановыми руками выстраивали из тех отбросов стены недоверия, подозрений, оговоров, сплетен, слежки и угроз вокруг Роксоланы, и она с каждым днем все острее и болезненнее ощущала, как сжимаются те стены, будто вот-вот рухнут и под своими обломками навеки похоронят и ее, и ее маленьких детей.

Утра были ласковые и радостные, а дни — невыносимые и тяжелые. Ночи не спасали. Поначалу молчала, не говорила султану ничего, а когда не под силу стало молчать дальше и она пожаловалась султану, он холодно бросил:

— Я не могу думать о такой нелепости.

— А вы считаете, что мне хочется думать об этом? — закричала она и заплакала, и он не мог унять ее слез, потому что на этот раз не знал как, не умел, а может, и не хотел.

Что о ней только не говорено тогда в Стамбуле!

Будто привезла со своей Украины две половинки яблока на груди, дала съесть те половинки Сулейману, и падишах запылал любовью к ней.



Будто поймали в Румелии знахарок, собиравших для султанши в пущах тот нарост, что свисает с умирающих деревьев, как взлохмаченная мужская борода, и называется «целуй меня». И она этим наростом должна была еще больше приворожить султана.

Будто задержали двух бабок, несших в гарем косточки гие-ней морды. Когда стали пытаться этих бабок, они сознались, что несли косточки султанше, ибо это сильнейший любовный талисман.

Будто евнухи кизляр-аги Ибрагима нашли зашитые в покрывале на султанском ложе высушенные заячьи лапки — они должны были оберегать любовь Сулеймана к Хюррем.

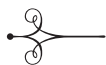
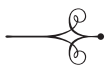
Будто поймали в Стамбуле зловредную еврейку по имени Тронкилла, варившую любовное зелье для султанши.

Будто найден на кухне котел, в котором варился гусак, общипанный, но не зарезанный, никто не знал, откуда взялся тот гусак и кто поставил котел на огонь, но открыли люди великого визиря, что тем гусаком должны были накормить султана, чтобы он навеки прикипел сердцем к Роксолане.

Будто обнаружили в покое самой султанши хасеки волшебное зеркало в черной раме, и кто заглядывал в то зеркало, тот видел свою смерть и, не выдерживая этого зрелища, отдавал Аллаху душу.

Будто султанша, играя с детьми в садах гарема, делает из сухих листьев мышек, которые должны принести кому-то смерть.

Будто дьяволы неистовствуют вокруг священных султанских дворцов, будучи не в состоянии пробиться туда сквозь частокोल молитв правоверных, но как только султанша выезжает за пределы Стамбула, они обступают ее со всех сторон, берут под охрану и наводят порчу на каждого честного мусульманина, который бы имел неосторожность приблизиться к ведьме. Когда султанша была с падишахом близ Эдирне, дьявол в оленьей шкуре кинулся на падишаха, но тот застрелил его, и на месте оленя оказалась смердящая куча дерьма.



Будто пила султанша отвары из сальвии и петрушки, чтобы превзойти плодovitостью Махидевран и всех султанских жен, самому же падишаху насыпала в карманы гвоздиков, чтобы сделать его крепче в постели.

А кто говорил, кто видел, кто докажет?

Нет врагов, нет противников, только перешептывания, оговоры, шелест да шорох, снование теней, призраков и привидений и ненасытность тысяч султанских холуев, словно бы их надо кормить не только чорбой и пловом, но еще и суевериями, сплетнями и подозрениями¹.

И чьи-то языки, раздвоенные и растроенные, жалили и жалили, и кто-то отдавал повеления, и жирные евнухи у ворот гарема задерживали всех портных, вышивальщиц, непревзойденных в умении изготавливать ароматные мази арабов, грубо срывали с их лиц чарчафы, гоготали:

— Не умрешь, если покажешь свою старую рожу! Куда идешь? Кому несешь?

Неверных в гарем не допускали, поэтому армянки, которые как никто другой знали толк в женских украшениях, гречанки с редкостными тканями с островов, венецианки с оксамитами и кружевами вынуждены были переодеваться мусульманками, но обман грубо разоблачался, и всякий раз распространялись слухи: «Снова поймали ведьму, которая несла что-то для султанши!» Как будто в огромном Баб-ус-сааде жила одна Хюррем, не было ни валиде, ни одалисок, ни множества старых уста-хатун, хазнедаруста, служанок и богатых рабынь.

Жаловаться? Кому? Искать виновных? Где?

¹ Гарем — царство страстей и изощренных мучений, клубок бесконечных конфликтов и трагедий, где страдали и правые, и виноватые. Крутые повороты судьбы, причудливая игра добра и зла в жизни чело- века на Востоке рассматривается как проявление кисмета (рок, судьба). Там верят, что судьба каждого смертного заранее predeterminedена Провидением. Суждено ли человеку в жизни счастье или его ждет трагический конец — это кисмет.



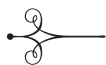
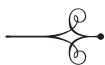
Все это напоминало детские кошмары: руки, что вырастают ниоткуда, алчно тянутся к твоему горлу, ты кричишь, просыпаешься — и нигде никого. Или неизвестно чей окрик сквозь сон: «Настася!» — и снова просыпаешься, и нигде никого, только ночь, мертвое сияние месяца и тишина, как на том свете. Еще напоминало все это жуткие рисунки мусульманских художников, которым Коран запрещал изображать людей и какие-либо живые существа: стрелы, что летят из луков, которые никто не натягивает; никем не управляемые и не нацеленные тараны, разбивающие стены; мечи, которые секут, неведомо чьими руками удерживаемые.

Еще недавно Роксолана считала, что ничего тяжелее рабства нет и не может быть, теперь убедилась, что оговоры, поклепы и подозрения еще страшнее неволи.

Должна была пережить и это, не ожидая ничьей помощи, не разыскивая виновных. Султан не был ни ее защитой, ни надеждой в этой безнадежной борьбе — он сам все глубже и глубже увязал в трясине войны, начал ее в первый год своего вступления на престол и теперь, пожалуй, никогда уже не сможет закончить. Считал, что удалось ему загнать в трясину неразумного венгерского короля, и не замечал, что сам увяз в глубоком, бездонном болоте, попал на глубину.

Снова пошел на Венгрию, раздираемую междоусобицами между Яношем Запольей, поставленным Сулейманом, и братом Карла Пятого Фердинандом Австрийским. Народ же не хотел ни семиградского воеводу-предателя, ни Габсбурга; как во времена Дьердя Дожи, снова из своих глубин выдвинул святого, пророка и царя Йована Ненаду, и тот пошел против Яноша Запольи, пугал магнатов, окрестивших его Черным Человеком, проходил по венгерской равнине, как народная кара всем предателям и изменникам.

Ибрагим намекал султану, что порядок в той беспокойной земле мог бы навести только он, сменив печать великого визиря на венгерскую корону, или же, по крайней мере, их общий друг Луиджи Грити, посланный туда наместником само-



го Повелителя века. Однако Сулейман заявил, что сам пойдет на Дунай, чтобы покарать Фердинанда и утихомирить венгров.

Целыми днями Гасан-ага приносил Роксолане лихие вести о клекотанье Стамбула вокруг ее имени, а по ночам звал ее султан, и ее зеленые глаза должны были светиться силой, волей, радостью жизни. Не желала слышать слов ни о власти, ни о золоте, прибылях, казне, все это наводило на нее такую тоску, что хотелось плакать. Когда султан заводил разговор о походах против неверных, она зажимала ему рот, капризно морщилась:

— Ничего нет враждебнее и ненавистнее для женщин, чем война.

Могла бы прибавить к войне еще великого визиря и валиде, но предусмотрительно молчала, надеясь, что всемогущее время устранил и Ибрагима, и султанскую мать, но устранил ли оно когда-нибудь эту проклятую войну?

Не скрывала от султана своих чувств, а он не проявлял к ним внимания, считая все это прихотями едва ли не детскими и, словно бы дразня Хюррем, поступал ей наперекор. Великому евнуху Ибрагиму напомнил, чтобы он прежде всего слушался валиде, возвращая таким образом султанской матери власть над гаремом, которую она было утратила после янычарского мятежа.

Ибрагим перед новым походом был возведен в звание главнокомандующего сераскера, в знак чего Сулейман дал ему свой фирман: «Сим повелеваем, что отныне и навеки ты мой великий визирь и сераскер, коего мое величество ввело в эту честь для всех моих земель. Мои визири, беглербеки, казиаскеры, муфтии, кадии, сеиды, шейхи, придворные вельможи и опора царства, санджак-беки, начальники конницы и пеших, алайбеки, субаши, церибаши, все мои победоносные войска, великие и малые, люди высокого и низкого звания, все жители моих земель и окраин, правоверные и райя, богатые и бедняки — все сущее должно признавать моего великого визиря сераскером и в том звании уважать и почитать, оказывать ему

помощь, слушаться его велений так, как будто они вышли из моих уст, из которых сыплется бисер...»

И после этого фирмана Сулейман пришел для прощальной ночи к Роксолане, и та ночь прошла в слезах и поцелуях, было грустно-грустно обоим, точно все на свете умерло и они сами тоже не знают, живы или нет; спали где-то Роксоланины дети в своих покоях, спали евнухи и одалиски, спали птицы в клетках и звери в подземельях, не спала только ненависть, прорастала из удобренной человеческими трупами жирной стамбульской земли, как ядовитое зелье, и слышно было, как прорастает неустанно и зловеще сквозь эту ночь расставания. Неужели султан был так ослеплен своею алчностью просторов, что ничего не замечал, не слышал и не знал?

Роксолана взяла руку Сулеймана, приложила к своей груди.

— Слышите, мой падишах?

Сердце стучало, точно детским кулачком: стук-стук...

— Я люблю это сердце больше; чем свое, — тихо сказал он.

— Любовь должна бы вселять жалость в вашу душу, мой повелитель. Почему же миром правит жестокость?

— Мир должен подчиняться закону, — сказал он сурово.

— Какому же? Кто установил тот закон?

— Закону правоверных. А установил его исламский меч.

Она заплакала.

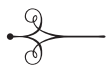
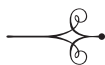
— О горе мне, горе! Бог существует только в людях. Разве же не грех убивать их? Ваше величество! Видели ли вы когда-нибудь такой цветочек полевой под названием ромашка? У него белые лепестки и желтая сердцевинка. Видели?

Переход от судьбы мира до маленького цветочка был настолько неожиданным, что Сулейман даже отшатнулся от Роксоланы. Не переставала его удивлять. Из женщины могла снова стать девочкой. Пугливое тело, пугливые мысли.

— Видели? — не отставала она.

Сулейман кивнул.

— А попробуйте оборвать на ромашке белые лепестки, чтобы она стала только желтой, что это будет — цветок?



— Нет, то уже не цветок.

— И не будет той красоты, что ей дарована Аллахом?

— Не будет.

— Вот видите, видите! Аллах творит красоту в неодинаковости, зачем же вы хотите сделать всех людей одинаковыми? И возможно ли это? И не противоречит ли воле Аллаха?

— Люди не цветы, — коротко возразил султан.

— Но я хочу быть цветком! И чтобы щедрое солнце вашей благосклонности ласково согревало меня своими лучами! Каждый день и каждую ночь я буду ждать от вас ваших честных писем и буду плакать и рыдать над ними всякий раз вместе с вашими царственными детьми. Если же вы вложите в каждое свое письмо волосок из ваших усов, я обцелую тот волосок, как моего падишаха, как свет моих очей и мою неомраченную радость...

— Я буду присылать тебе подарки из каждого конака, после каждой победы, с каждого дня пути.

— Самым большим для меня подарком будет, если вы вспомните обо мне. Больше мне ничего и не надо...

— Я хотел, чтобы моя царственная мать была тебе опорой и защитой во время моего отсутствия и чтобы вы в одинаковой мере пользовались нераздельной властью над гаремом.

— Ради вас я готова делить даже неделимое!

— Я назвал сераскером похода великого визиря, чтобы высвободить для себя время думать над законами, ибо законы должны рождаться в одной голове, так же как дитя — в лоне одной матери.

— Разве я имею что-либо против великого визиря?

— Но ты бы должна его полюбить.

— Полюбить? — она схватила Сулеймана за плечи, приблизила свое лицо вплотную к его. — Полюбить Ибрагима? Ваше величество, если бы вы только знали этого человека! Я не верю ему и никогда не поверю!

— Зато верю ему я.

— Что же мне делать? Я, бессильная женщина, ваша раба, окруженная со всех сторон Ибрагимовым подслушивани-

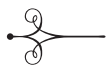
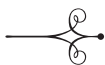
ем, оплетенная сетью недоверия и подозрительности, бьюсь, рвусь, но все тщетно. Но тщетны и его коварства. Пусть оставит паутину для паука. Скажите ему об этом, мой повелитель. Есть у меня свои люди на воле, они следят за каждым шагом Ибрагима, и если он посмеет тронуть хоть одного из них, пусть остерегается! Скажите ему и об этом, мой повелитель! Гасан-ага останется в Стамбуле, чтобы беречь меня не здесь, в гареме, а на воле, ибо если и угрожает что-то мне и вашим детям, то угроза та наплывает с воли, ваше величество! Вспоминайте меня, умоляю вас!

Может, стала бы еще домогаться, чтобы султан устранил Ибрагима с высочайших постов, прогнал с глаз? Может, домогалась бы и смерти Ибрагима, угрожая Сулейману, что сама заколет коварного грека кинжалом в присутствии его величества?

Ни за что на свете!

Но уж если распускали о ней слухи, что она ведьма и колдунья, от одного взгляда которой ослабевают тетивы луков у турецких воинов, то могла отплатить им хотя бы проклятиями, посылаемыми в душе вслед грабительскому походу: пусть исчезнут, как вода разлитая; когда пустят стрелы свои, пусть те стрелы отупеют; пусть они, как выкидыш, никогда не увидят солнца!

И стихии, как бы услышав голос этой всемогущественной и несчастной женщины, преследовали султана с его войском со дня выхода из Стамбула и до самого возвращения с такою жестокостью, что казалось, небо провалилось, земные воды пошли на сушу, сама земля содрогнулась в своих недрах, чтобы стряхнуть с себя грабительские исламские орды. Дождь стоял стеной в продолжение нескольких месяцев. Не видно было ни земли, ни неба. Реки вышли из берегов, глиняные горы сдвигались со своих миллионнолетних лож, болота образовывались там, где испокон веков был один камень, гибли от потоков кони, верблюды, мулы, овцы; люди спасались, взбираясь на деревья и живя там, как обезьяны, целыми неделями. Какой-



то бек ночью возле Эдирне влез на дерево, на котором было множество мелких гадючек, они мгновенно облепили его, лезли ему в глаза, в рот, в уши, спасаясь от воды, и он боялся до утра шевельнуться, хотя все в нем дрожало и сердце едва не разорвалось от отвращения.

Целый месяц страданий и неудач, позора. Сераскер Ибрагим не умел навести порядок в огромном войске. Привык, чтобы перед ним распахивались ворота, чтобы земля стлалась под ноги, а он топтал ее золотыми сапогами, усыпанными самоцветами, и отдавал своим подручным Скендер-челебии и Луиджи Грити. В Венгрии Скендер-челебии нечего было делать, ибо земля была обобрабана дотла, зато Грити вызвался быть добровольным посредником между венгерскими магнатами и султаном, где-то что-то выводывал, кого-то покупал, кого-то продавал, нашептывал султану о ненадежности Яноша Запольи, о намерениях хранителя венгерской короны передать ее Фердинанду Габсбургу или же присвоить себе. Кончилось все тем, что венецианец с десятком головорезов выкрал корону святого Стефана вместе с ее хранителем Петером Переньи из Буды, привез Ибрагиму, и тот показал эту святыню визирям, пашам и бекам, а ночью в своем шатре примерял корону, и Грити, присутствовавший при этом, признал, что корона святого Стефана очень к лицу Ибрагиму, особенно если тот пообещает сделать его, Грити, архиепископом и своей правой рукой в этой богатой земле.

Янош Заполья был еще раз назван венгерским королем: Сулейман милостиво допустил его к руке, но корону не отдал, заменив ее десятью золотыми кафтанами и тремя конями в золотых уздечках. Грити за старания и советы получил из султанской казны две тысячи дукатов и наименован был постоянным представителем венгерского короля на Высокой Порте.

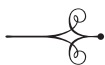
Из Венгрии медлительная, неповоротливая, но упрямая сила Сулеймана двинулась на Вену. Взять эту твердыню Габсбургов, ближайшую к землям османов, — и забудется позор

неудач, бездарность сераскера — великого визиря, грабительство акинджий, которые поразбегались во все стороны, разоряя, сжигая, убивая, оголяя землю так, что становилась она еще более пустынной, нежели в первые дни сотворения мира.

Только в начале октября султанские войска окружили, наконец, Вену. Оставалось всего каких-нибудь два десятка дней до дня Касима, когда по обычаю войска уже должны возвращаться домой, особенно отряды анатолийских спахиев, не привыкшие к холодам, а между тем забрались они в такую даль, что не добраться им домой и за три месяца. Поэтому думалось им не так о взятии этого большого чужого города, окруженного хоть и старыми, но еще крепкими каменными стенами и башнями, как о далекой дороге домой. Зато янычары, изголодавшиеся по добыче, по грабежам, с вожделением поглядывали на высокие башни Вены и клялись не уйти отсюда, не побывав по ту сторону стен и не вывернув внутренности всех тех больших каменных строений.

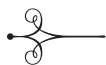
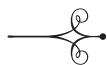
Тридцать тысяч шатров было раскинуто у стен австрийской столицы. В котловине Зиммеринга поставили султанский шатер, огромное сооружение из драгоценнейших в мире тканей, закрепленный на сотнях драгоценных столбиков, украшенный наверху огромным яблоком из чистого золота, внутри устланный в несколько слоев толстыми коврами, на которых играли все краски и узоры Востока. Крылья султанского шатра были усеяны золотыми зернами, отчего весь он сиял так, будто само солнце спустилось на землю из-за дождевых туч, и вызвал в осажденных такое удивление и такой почтительный страх, что и через сто лет будут показывать венцы то место, на котором стоял шатер Сулеймана.

Пятьсот бостанджиев днем и ночью охраняли султанский шатер. Двенадцать тысяч янычар непробиваемым обручем окружали своего падишаха. Лил дождь с холодным ветром, а в султанском шатре было тепло и сухо, медные жаровни, наполненные раскаленным родопским древесным углем, излучали приятное тепло, из курильниц струились индийские ароматы, как бы на-



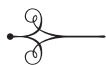
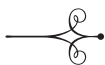
помяная Сулейману о великом завоевателе индийского народа Бабуре, которого он должен был превзойти здесь, под стенами этого прибежища Габсбургов. Султан созывал диван, слушал сообщения сераскера о течении событий. Утешительного было мало. Неудержимые на незащищенных местностях, по которым прокатывались смертоносным валом, турецкие войска становились беспомощными перед малейшей преградой. Единственное, что они умели, — это упорно ползти, как надоедливые мухи, на стены и башни осажденных твердынь и так же, как мухи, гибнуть тысячами, и когда добывали наконец твердыню, как это было под Белградом и на Родосе, то добывали такую кровавой ценой, что страшно было вымолвить. В Венгрии Ибрагим за два похода не смог взять ни одной хотя бы самой маленькой крепости. Клал трупы тысячами, посылал к султану гонцов-хабердаров — с вестями о победе, а выходило ложь за ложью. Другой давно лишился бы головы, у грека же, ко всеобщему удивлению, голова все еще торчала на плечах и держалась, кажется, достаточно прочно, ибо после каждой новой неудачи Сулейман, который наливался все большей яростью и жестоко карал каждого, кто попадался ему под руку, вертлявого грека одарял своими ласками, цеплял ему на тюрбан новое перо с бриллиантом, выдавал из сокровищницы новые и новые кожаные кошельки с дукатами.

Под Вену Ибрагим не привез больших пушек, которыми когда-то громили стены Белграда и Родоса, — он надеялся на подведение пороховых мин под стены и образование проломов, столь милых сердцу янычар. Но все подкопы незамедлительно обнаруживались защитниками города, которые в подземельях держали сосуды, до краев наполненные водой, и большие барабаны с насыпанным на них сухим горохом. От малейшего колебания почвы вода выплескивалась из сосудов, горох тархтел по барабанам, защитники либо же мгновенно начинали вести встречный подкоп и подрывали исламских воинов, либо неожиданно прорывались в том месте, где велся подкоп, и вырубали там всех турок своими страшными мечами, на каждый из которых они могли нанизывать по три человека.



Однажды сам Ибрагим чуть не попал в руки венцев, высочивших из города и порубивших двести янычар. В тот день Сулейман обещал завтракать в Вене. Защитники отправили к нему несколько пленных рассказать султану, как сожалеют венцы, что не могут послать ему на завтрак ничего другого, кроме пушечных ядер.

Убедившись в неспособности сераскера взять город, султан велел 14 октября идти войском на последний штурм, пообещав по двадцать дукатов каждому ворвавшемуся в город. В большой пролом, образованный взрывом нескольких мин, которые все-таки удалось подвести под стену, первыми бросились янычары, не так побуждаемые султанскими дукатами, как надеждами на добычу в городе, но войско двигалось за ними медленно и неохотно. Уже не молитвы и обеты пророка и падишаха, не зурны, барабаны и тулумбасы подгоняли исламское воинство, а паши и беки, которые пустили в ход канчуки, палицы, сабли, толкали и пинали своих воинов в спину, гнали их вперед, как скотину на убой, а те упирались тоже как скотина, предпочитали гибнуть от рук своих беков, чем идти против испанских мушкетов, плевавших страшную смертью из-под каждого камня, и против немецких мечей, которыми ландскнехты резали все живое и мертвое, стоя по колени в крови, неуязвимые для стрел, для ядер и для божьей кары. А тут еще добавило страху видение двухголового рыцаря, наполнившего сердца верующих таким ужасом, что даже янычары повернули и бросились бежать, закрыв глаза. А двухголовый, огромный, весь в крови, недоступный и недостижимый, стоял в самом проломе и рубился с таким неистовством, будто был уже и не человек, а сам дьявол, спустившийся с неба или пришедший из ада на помощь христианам. Португалец, потерявший левую руку, и немецкий наемник, которому отрубили руку правую, прижимаясь плечом к плечу, соединились в одного человека, может, умирая, встали перед врагами воплощением неприступности и бессмертия этого дунайского великого города — и тупая османская сила отхлынула.



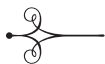
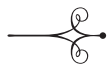
Султан, спасая от окончательного позора своего сераскера, велел отступить¹.

Была середина октября. Дождь сменился снегом. Небо, точно смиростивившись над неудачливыми завоевателями, накрывало землю белым пушистым саваном, пряча под ним те тридцать тысяч исламских воинов, которые полегли под стенами Вены. Султан выплатил янычарам по пятьдесят дукатов каждому, Ибрагиму подарил саблю, усеянную драгоценными камнями, четыре кафтана и шесть тысяч дукатов. Ни единого упрека, ни единого гневного взгляда на великого визиря, только ласка и приветливость, хотя и звучали у Сулеймана в ушах слова из писем Хюррем, присылаемые ею из Стамбула еженедельно: «Я же вам говорила! Я же вам говорила!» Позор Ибрагима падал и на него. Признать его — признать для обоих.

Янычары выли от ярости, что уходят из-под Вены, не добравшись до ее домов. Все, что не могли унести с собой в далекую дорогу, валили в огромные кучи, поджигали, в те огромные костры бросали пленных, которые послабее, постарше и ничтожнее, рубили их ятаганами на куски, набивали на колья для развлечения. Сулейман не пытался их остановить. Лучше пусть изольют свою ярость на невинных чужаков, чем снова взбунтуются против него и против визирей.

Отряды грабителей разбрелись по всей горной Австрии, по венгерской и сербской земле. Жгли церкви и целые села, освещая себе дорогу, втоптывали в грязь священные книги, сплюсцивали золотые и серебряные чаши, чтобы они поместились в сумках, хватали людей, вели за собой, а тех, кто не мог идти, убивали на месте. Османский летописец, смакуя, живописал эти омерзительные злодеяния: «На базарах продавали краса-

¹ В сентябре 1529 года турецкая армия, поддерживаемая отрядами Запольи, взяла Буду и восстановила на венгерском троне султанского ставленника. Затем султанские войска двинулись к Вене. С конца сентября до середины октября 1529 года турки штурмовали стены Вены, но столкнулись с мужеством и организованностью ее защитников.

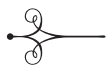
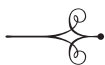


виц, у которых чело как жасмин, густые брови высоко подняты и стан как у райских гурий. Имущество, движимое и недвижимое, люди и скот, существа словесные и бессловесные, все было разграблено или попало под саблю, — так был исполнен завет пророка о том, как поступать с неверными».

Позорное отступление длилось целых два месяца. В снегу и холодных дождях металось османское войско, как огромный зверь, что, увязая в трясине, теряет одну за другой части своего неуклюжего тела, задыхается, изнемогает, гибнет. Люди умирали уже и не от руки врага, а от стихий и от собственного истощения. Так, умер главный янычарский ага Касим. Возле Буды в снеговых заносах пропал целый караван с сокровищами великого визиря. На Венгерской равнине, опустошенной турками еще три года назад, подкарауливал султанские орды голод. Вновь разлились реки, вновь придунайские трясины всасывали в себя тысячи людей. Когда в начале декабря султан с войском прибился в Эдирне, в городе после вечерней молитвы произошло землетрясение, земля ходуном ходила под ногами у завоевателей и у самого Сулеймана, как будто к силам небесным в их ненависти к исламскому войску добавились еще и силы земные. А у султана в ушах все звучали слова его хасеки: «Я же вам говорила! Я же вам говорила!»

Лишь теперь Сулейман понял, почему после всех своих походов он возвращался в Стамбул без пышности и торжеств, а тайком, прячась, как вор: он боялся, сам не зная чего. То ли стамбульских толпиц, то ли невысказанного гнева своих предков, то ли божьей кары или голосов мертвых, оставленных им на поле боя, ибо голоса те преследовали его всякий раз долго-долго, плакали, стонали, молили и проклинали. Кого проклинали? Виновника их смерти? А виновником всегда был только он.

На этот раз открылось ему, что он страшится встречи с Хюррем. Уже не была маленькой золотоволосой девчушкой с пугливым телом и сжавшейся в комочек, точно крохотная птичка, душой. Двадцатипятилетняя расцветшая женщина



(хотя тело у нее оставалось все таким же!), султанша, которой он дал славу и могущество, мать его детей, мудрая, опытная, твердая, когда нужно, и ласковая, как солнечная улыбка. Видел ее, окруженную детьми, добрую и заботливую, склоненную над книгами или же над письмами, которые пишет ему в бесконечные походы; наполняла его сердце такую любовью, что он временами боялся за себя, за свою малость, неспособность вместить в себе то безмерное чувство, какое она щедро ему дарила. И всегда была доброй к нему, не требовала — только просила, не ярилась — только жаловалась, не вмешивалась в его дела — только сочувствовала ему, своему султану, над которым безжалостно нависало господствующее своеволие державы.

Всякий раз, возвращаясь в столицу, радовался, что застанет там свою Хюррем, посылал молитвы благодарности пророку и предкам за то, что так мудро устроили с женами, оберегая их, охраняя, заставляя ждать покорно и радостно. Как сказано: «Истинно, богобоязненные — в месте надежном, среди садов и ручьев, одеваются они в атлас и парчу друг для друга...»

Теперь боялся Роксоланы. Что еще скажет она ему после тех горьких слов укоризны, звучащих в ее письмах? И что он ответит ей? Представлялась ему единственной искренней душой на свете. Все вокруг притворное, хитрое, обманчивое, лживое — и вот засветилось внезапно, засияло, точно расступились небеса и упало манной, пролилось нектаром, взлетело лаской самого Аллаха из райских кущ. Десять лет она была с ним и возле него, стояла у высочайшей власти на земле, но до сих пор была совершенно равнодушна к той власти, любила Сулеймана как супруга, как мужчину, и это преисполняло мрачную душу его гордостью, еще неведомой, и безмерной благодарностью к этой женщине.

Как же он мог появиться перед ней после позорного этого похода?

Шесть дней сидел Сулейман в Эдирне, никого не подпускал к себе, запершись во дворце, думал над тем, как войти в Стамбул.

Когда нет победы, ее следует чем-то возместить. Янычарам он роздал почти триста тысяч дукатов — еще и неизвестно, досталось ли бы им столько после взятия Вены. Поэтому они наконец утихомирились. А чем заткнет глотку всем крикунам в Стамбуле и во всем мире? От крика можно спастись только криком. Победу заменить триумфальным возвращением и пышными церемониями в столице, которые бы превзошли все известное. Вот мудрость власти!

Зная, что никто из властителей никогда не слушает оправданий, разослал во все дружеские земли письма, в которых писал, что пошел на Вену, чтобы увидеться и поговорить о делах Венгрии с королем Фердинандом, но тот сбежал к чехам — и ни слуху ни духу.

Для своих подданных издал фирман, в котором хвалился, что помиловал осажденный город и в безмерном своем милосердии отклонил предложение о сдаче и так вернулся с триумфом и чистой совестью. Наверное, перед встречей его со Стамбулом и с возлюбленной султаншей, вспоминая ее пречистые глаза, сам хотел очиститься хотя бы в своих султанских писаниях и хотя бы на миг поверить, что можно сохранить чистую совесть, когда твои руки до локтей в крови. Но, вспоминая Хюррем, с нетерпением ожидая близкой встречи, уже не был султаном, становился задумчивым поэтом Мухибби, влюбленным Меджнуном, а у влюбленных в крови только сердце.

Днем и ночью шли большие приготовления. Сушили барабаны и знамена, перематывали тюрбаны, чистили коней, расправляли пояса, доставали припрятанные драгоценности, навешивали на себя дорогое оружие, приукрашивались, чистились, наряжались. В Стамбуле шуршали шелка, натянутые вдоль улиц, по которым должен был проехать султан, под копыта его коней бросали цветы и стлали ковры, в мечетях молились во славу исламского оружия, били пушки над Босфором, когда победоносное войско вступало в ворота столицы, гремели медные янычарские тулумбасы, грохотали барабаны,

